

М. ВОЛОШИН В КОКТЕБЕЛЕ

Л. Дадина

М. ВОЛОШИН В КОКТЕБЕЛЕ

Далекie потомки наши, знайте,
Что, если вы живете во вселенной,
Где каждая частица вещества
С другою слита жертвенной любовью,
То в этом мире есть и наша доля.

М. Волошин

Я приехала к Волошиным в Коктебель в первый раз в 1926 году и до своего отъезда из России была у них двенадцать раз. Я приехала туда, как приезжало к ним бесчисленное количество людей, не имеющих никакого права на гостеприимство Волошинского дома и никаких данных, чтобы стать в число их друзей. Я с ними даже не была знакома. Но двери дома всегда широко открывались перед всеми, кто в них стучал. Отказа не было. Обычно приезжий ссылался на какую-то Анну Ивановну или Мишеньку, которые жили здесь пять-шесть дней несколько лет тому назад, и, хотя Максимилиан Александрович и его жена Мария Степановна часто и вспомнить не могли, кто же, собственно говоря, были этот Мишенька или Анна Ивановна, гость сразу же принимался, и начинались всякие комбинации, чтобы выкроить и для него местечко в уже переполненном доме.

Меня привезла моя приятельница, которая имела один из самых солидных коктебельских стажей — до второй войны она была у Волошиных двадцать три раза. Помню мое волнение, когда мы тряслись на безрессорной линейке 18 километров по покрытым ковром маков степям от Феодосии до Коктебеля. Сперва ландшафт казался унылым, степи, затем плоские холмы, затем маленький подъем — и перед глазами лежал во всем блеске глубокий Коктебельский залив с водою такой синевы и такой переливчатости красок, которых в другом месте не найти.

Когда я уже была у самого дома, робость так сковала меня, что мне только и хотелось на той же линейке повернуть обратно и уехать. Но Максимилиан Александрович и Мария Степановна уже спешили навстречу моей приятельнице — их большому другу — и приветствовали меня, незнакомую.

Прежде всего меня поразил весь облик Максимилиана Александровича. Несмотря на его пассивность, грузность, большой вес — страшная легкость в движениях, легкость в походке. Голова Зевса — целая шапка густых, развевающихся по ветру седых волос, которые он иногда стягивал ремешком или широкой тесьмой. Лицо, заросшее до самых глаз бородой. Небольшие серые глаза, смотревшие

очень пристально. Мне сразу показалось, что Максимилиан Александрович смотрит не *на* меня, а *в* меня. При всей пристальности взгляда — глубокая ласковость.

Одеты Максимилиан Александрович и Мария Степановна были почти одинаково — холщовые рубахи с длинными рукавами, выпущенные поверх таких же холщовых штанов-шаровар, застегнутых ниже колен на пуговицу, сандалии на ногах. Все это старенькое, много раз стиранное, латаное.

Мария Степановна повела меня по всей «усадебке», состоявшей из двух больших домов и одного маленького домика-кухни, и поместила меня в большой комнате второго дома, «гинекее», где жили одинокие женщины и девушки. Одинокие мужчины жили в комнате, называемой в противоположность «гинекее» — «мужикеем».

Когда-то, еще до революции, Елена Оттобальдовна — мать Максимилиана Александровича, которую он всегда называл Пра-женщина, властная, энергичная, мужское начало в семье, — будучи в очень стесненном материальном положении, начала сдавать свободные комнаты в своем доме, приглашая преимущественно писателей, поэтов, литераторов и людей, причастных к искусству. Кто только не перебивал в это время в Коктебеле: Андрей Белый, Брюсов, Вересаев, художник Богаевский, Грин, Ходасевич, Цветаева.

Пришла революция. Коктебель опустел. Однажды в 1920 г. в Коктебель прибилась совершенно больная сестра милосердия. Ее приняли в дом, выходили, поставили на ноги, полюбили. В это время начала хворать Елена Оттобальдовна. Маруся не отходила от нее, ухаживала за ней. Когда Пра умирала, она позвала Марусю и взяла с нее обещание никогда не оставлять Макса и остаться с ним на всю жизнь. И Маруся осталась и стала его женой. Но не только женой, больше того: другом, нянкой, охраной, единым, нераздельным существом. И ценно было то, что Марусина личность не растворилась в личности Максимилиана Александровича, не поглотилась и не подавлялась ею. Она была очень самобытна и прошла большой путь жизни. Из старообрядческой семьи, со всей строгостью и суровостью ее быта, она рано потеряла мать, сгоревшую в туберкулезе. Еще при жизни матери, которая билась в страшной нужде, Маруся ребенком 8—10 лет покушалась на самоубийство, чтобы облегчить таким образом матери борьбу за существование. Ее доставили в больницу и отходили. Через несколько дней появилась заметка в газете, и несколько семей откликнулись на призыв помочь. Ее поместили в лучшую частную гимназию в Петербурге, а после смерти матери она жила поочередно в семьях, принявших в ней участие, между прочим и в семье Бориса Савинкова. После окончания гимназии Маруся увлекается идеей толстовства и едет в толстовскую общину — Криница — под Новороссийском, но не уживается в ней и скоро уезжает обратно в Петербург. Затем — годы учения на медицинских курсах, которые она не успевает закончить из-за революции, и, не получив диплома врача, Маруся уходит на фронт сестрой, что приводит ее в Крым, в Коктебель, к Максусу, хозяйкой такого большого и такого сложного дома.

Еще при жизни Пра Максимилиан Александрович мучительно переживал денежные расчеты матери за сдачу комнат людям, которых он считал своими друзь-

ями. Став хозяином дома, Максимилиан Александрович стал приглашать к себе своих друзей безвозмездно, предоставляя в их распоряжение весь дом. С 1922 года дом опять стал постепенно наполняться в летние месяцы. Сперва появились старые друзья, они потянули за собой своих друзей, а те — своих, и в 1926 году, когда я впервые приехала в Коктебель, в комнатах дома жило 115 человек, а за все лето перегостило 600 с лишним душ.

Первый дом, в котором жили Максимилиан Александрович и Мария Степановна, стоял возле самого моря. Узенькая полоска пляжа отделяла его от воды. В осенние норд-осты, очень свирепствующие в Коктебеле, серые, осенние, холодные волны лизали калиточку, ведущую в садик при доме. Дом — непонятной конструкции — весь из каких-то пристроек, но очень удобный. Каждая комната со своим выходом, у каждой балкон или терраса. Прямо лицом к морю — мастерская с тремя огромными окнами — фонарем. Обстановка, как и во всем доме, самая примитивная, все сколочено по-самодельному, из досок, ящиков. В глубине мастерской — ниша с двумя топчанами, тоже сколоченными из досок, с соломой набитыми тюфяками, но все покрыто болгарскими пестрыми дорожками-ковриками. А между топчанами бюст Тайах — «царевны Древнего Египта».

Из мастерской лестница наверх — вдоль стены книжные полки, несколько тысяч томов. Книги по философии, истории. Книги на многих языках. Кругом мастерской — хоры, где во время чтений и бесед, устраиваемых два-три раза в неделю, сидело по 20—25 человек.

Затем кабинет Максимилиана Александровича. Большое окно — прямо на море. Если сидеть за столом или в кресле — не видно земли, а только море и Кара-Даг, круто спускающийся к морю и очертанием своим напоминающий профиль Максимилиана Александровича. На стене большой портрет первой его жены — Маргариты Васильевны Сабашниковой. На стенах акварели, маски, полочки. На них «габриаки», отполированные до блеска морем корни каких-то деревьев, причудливой формы, напоминающие какие-то химеры, фигуры. Находка каждого габриака, выброшенного морской волной на пляж, — всегда событие в Коктебеле. Его несут Максимилиану Александровичу, осматривают, начинают искать сходство с кем-нибудь или чем-нибудь, иногда вставляют глаза из камешков. Каждый габриак имеет свою историю — он живой участник дома Волошина.

Из кабинета ход на чердак, отданный в летние месяцы во владение «отроков и отроковиц» — 12—18-летнего населения дома, — и ход на небольшой балкон, откуда поднимаешься на вышку, венчающую дом, — она открыта на все четыре стороны — это как бы крыша дома. Сюда Максимилиан Александрович выходит рано утром — смотреть на восход солнца. Здесь же он проводит часы своего раздумья, своей молитвы.

В доме — еще спальни Максимилиана Александровича и Марии Степановны и их зимняя столовая. Все эти комнаты в летние месяцы сплошь забиваются приезжими. Но только очень близкие живут в этих личных комнатах Волошиных.

Внизу музыкальная комната с роялем. Все стены в рисунках, шаржах, карикатурах, текстах юмористических стихов. Хозяева дома, конечно, фигурируют во всех видах.

Второй дом не имеет в себе ничего индивидуального. Это место, где ночуют приехавшие гости. Днем в комнатах никто не сидит, а если и сидят, то в музыкальной, мастерской, столовой.

Радушно открыв двери своего дома, Максимилиан Александрович не может, конечно, обставить приезжих какими-то удобствами. Ведь живут Волошины — без денег. Одно время, правда, Максимилиан Александрович получал пенсию. Выхлопотал ее ему и вообще покровительствовал ему в свое время нарком просвещения Луначарский. Откуда взялась эта симпатия — не знаю. Но пенсию эту Максимилиан Александрович получал недолгое время. Да и может ли обеспечить кого-нибудь пенсия в СССР? В общем, Волошины не имели ничего. Несколько раз устраивались выставки акварелей Максимилиана Александровича, иногда продавалась та или иная. Но все это были гроши, о которых не стоит говорить.

Как только начинался летний курортный сезон, примерно в конце апреля, к Волошиным приезжала О.Ф. — «Липочка», которая устраивала в маленьком домике кухню и давала всем приезжающим, по их желанию, пансион. За право пользования кухней, всем инвентарем, за комнаты, в которых жила она и ее помощницы, она кормила Волошиных. И так они были сыты с апреля по октябрь. А с октября по апрель они жили ничем. Мария Степановна лечила болгар из соседней деревни, и это давало им молоко, иногда пару яиц. Мы же — друзья, прожившие все лето в гостеприимном Волошинском доме и не заплатившие ни одной копейки за комнату, кто мог, слали какие-то посылочки, чем и поддерживали их. Но так как все слали не сговариваясь, то бывало так, что в ноябре Волошины питались преимущественно крабами-консервами, почему-то в изобилии наводнившими пустые лавки советской торговли, в декабре — салом, в январе — пшеном. А хлеба не было. Сушили летом сухари и ели их зимой. Помню я, как в день пятидесятилетия М.А. Волошина мы собрали деньги и на них купили ему материю для зимнего пальто, так как старое было уже совсем неприемлемым, а шила ему это пальто дома тетя Саша — верный и многолетний друг Волошинского дома.

Максимилиан Александрович и Мария Степановна без отказа принимали людей в свой дом, уступая им даже свое место и, в случае крайней нужды, делили свой «паек» с лишним человеком. Каждый приезжающий старался устроить себе ложе, привозил два мешка, набивал их соломой, иногда пытался скототить кровать, какой-нибудь стол, табуретку. Этот инвентарь оставался в доме и помогал следующим приезжим не ложиться прямо на пол.

Все жили, как одна большая семья, хотя здесь было полное смешение возрастов, интересов, профессий, вкусов. Приезжали отцы и матери с детьми — категория «дяди и тетки»; приезжала молодежь — категория «нимфы и фавны»; и старая профессура Москвы, и незаконная дочь Горького, и гр. Ольга Константиновна Толстая — жена Андрея Львовича, я — педагог, постановщик балета в Камерном театре Москвы, и какая-то Любочка, и какая-то Леночка, петербургский психиатр, переводчик Рабиндраната Тагора, директор консерватории, дети первой жены Эрэнбурга без матери, МХАТовская молодежь, певица Зоя Лодий,

мать с шестью детьми в такой нужде, что на младшего одежды не хватало, на нем были только сапожки, и он целый день бегал в них голышом... Не перечислить всех; но все были вместе, потому что все тянулись к Максимилиану Александровичу и через него становились близки друг другу.

* * *

Помню впечатление первого дня. После обеда и часа отдыха все сошлись в мастерской, где С.Д. — друг Максимилиана Александровича, ушедший из православия в католичество, — читал одну из своих философских статей. Тема была мне чужда, новизна всей обстановки отвлекала, но разговоры, обсуждение, возникшие потом, настолько захватили меня, что я, затаив дыхание, вся отдалась совершенно новой для меня области мысли. Говорили многие, но вел и направлял всех Максимилиан Александрович. В его словах была всегда какая-то большая, глубокая и волнующая правда.

Удар палки по висящему отрезку рельсы — вместо гонга — созвал нас к ужину. Так как мы только что приехали и у нас вообще не было средств, чтобы оплачивать пансион, то мы решили просто питаться молоком, хлебом и фруктами; но в первый день Волошины позвали нас разделить с ними принесенный им на двоих ужин. Стесняясь лишить их и так довольно скромного в условиях советского быта ужина, я отказалась идти. Но меня потащили просто насильно. Еще больше я была смущена, когда застала за столом еще двух гостей, тоже впервые попавших к Волошиным и тоже не устроившихся еще с питанием. Стояло 6 приборов и два маленьких судочка с принесенной едой. Максимилиан Александрович глубоко верил (и так часто говорил об этом), что «чем больше давать, тем больше прибудет». И это у него не было фразой. Это было глубокое убеждение, подтвержденное многими годами опыта. Вот и сейчас, не успели мы сесть за стол и начать делить две тарелки супа на шестерых, как принесли еще полную миску еды, потому что кто-то, уходя в горы на два дня, просил отнести Волошиным свои порции.

Как часто после, когда я уже тесно вошла в круг Волошинской жизни, я волновалась, когда за совершенно пустой стол усаживалось несколько человек голодных гостей, и Макс на мой тревожный взгляд мне неизменно говорил:

— Не может не быть, сейчас будет...

И действительно, как-то чудом вдруг на столе появлялась не просто еда, а именно что было нужно. Да, это было чудом, но разве самое существование Дома Волошиных — культурного, духовного центра для тысяч, места паломничества для стольких — в условиях советского режима с его НКВД, с его уничтожением всего духовного и культурного, стоящего вне советского понимания культуры, — не было чудом?

После ужина был вечер в музыкальной комнате, были и молодежь-профессионалы, были и любители, одаренные несомненными талантами. Ставились шарады на злободневные, чисто коктейльские темы, все чемоданы приехавших, все кладовочки Волошинского дома были перерыты, и все пестрые тряпочки извле-

чены из них, был вечер красок Вахтанговской «Турандот», вечер талантливых импровизаций. Зрители сидели на скамьях, просто на полу, невмещавшиеся примащивались на скамьях возле окон, стояли на подоконниках.

Надо знать наши советские будни, нашу жизнь — борьбу за кусок хлеба, за целостность последнего, что сохранилось — и то у немногих, — за целостность семейного очага; надо знать эти ночи ожидания приезда НКВД с очередным арестом или ночи, когда после тяжелого дня работы приходишь в полунатопленную комнату, снимаешь единственную пару промокшей насквозь обуви, сушишь ее у печки, стираешь, готовишь обед на завтра, латаешь бесконечные дыры, и все это в состоянии приниженности, в заглушении естественного зова к нормальной жизни, нормальным радостям, чтобы понять, каким контрастом сразу ударил меня Коктебель и Максимилиан Александрович с той его человечностью, которую он пробуждал в каждом уже давно сжавшемся в комок человеческом сердце, с той настоящей вселенской любовью, которая в нем была.

Однажды при мне один из мальчиков, бывших на берегу моря, прибежал с криком за Максимилианом Александровичем: море выбросило тело 16—18-летнего юноши. Вскоре его опознали. Он был сыном семьи, имя которой очень известно в Крыму. В 1919 г. на его глазах расстреляли его отца и старшего брата. От нервного потрясения у него были припадки эпилепсии. Сейчас этот мальчик ходил по домам болгарских и татарских крестьян и помогал то пилить дрова, то собирать виноград, кормился сам, а жалкие заработанные гроши отсылал матери. Припадок эпилепсии случился с ним, очевидно, в воде, и он захлебнулся в двух шагах от берега. Нужно было куда-нибудь перенести тело до приезда матери. Некому было помочь. Максимилиан Александрович и Мария Степановна позвали меня. Мы вместе перенесли тело на недостроенную дачу, стоящую в стороне от дороги. Волошины остались на всю ночь возле тела, и я с ними. Принесли простой гроб, уложили покойного, Мария Степановна пошла в горы за цветами, убрала весь гроб ими, положила крестик на грудь. Сколько раз за ночь они подходили к несчастному, хлебнувшему за короткий век столько мук мальчику, как ласкали его холодное лицо, как убирали непокорную прядь волос со лба. Как просто провели они всю ночь и весь следующий день до приезда матери, все время не то в молитве, не то в каком-то созерцании. Он не был для них чужим, незнакомым, он был для них Человеком, рано вырванным из жизни, закончившим свой жизненный путь.

Я приехала тогда после первой смерти в моей личной жизни. Я не могла своими силами справиться с потерей, не могла найти в себе силы, чтобы вернуться к утверждению жизни. И Максимилиан Александрович в эту ночь дал мне то, что мне было нужно. Он утверждал жизнь, он звал к ней. Он принимал ее со всем, что она давала. Любил ее. Смерть для него — «конец пути». Он звал чувствовать «каждое мгновение последним в жизни».

..... И пусть
Вечерне-радостная грусть
Обнимет нас своим запястьем.

Смотреть, как тают без следа
Остатки грез, и никогда
Не расставаться с грустным счастьем.
И подойти к концу пути,
Вздохнуть и радостно уйти.

На следующий день приехала мать. Какая это была по счету смерть в ее семье после революции? Максимилиан Александрович увел ее к себе и долго, несколько часов говорил с ней. Когда она затем села на линейку и, обняв рукой гроб, повезла его на кладбище, я видела ее лицо. В нем был свет, а не скорбь. Максимилиан Александрович сумел ей сказать слова, которые удержали ее в жизни, примирили с ней.

С этой ночи Максимилиан Александрович и Мария Степановна стали для меня Максом и Марусей, с этого дня я переехала в большой дом, ближе к ним, и получила то, что помогло мне не задохнуться в глухой подсоветской России, не умереть духовно и что продолжает питать меня, может быть, и поныне.

* * *

Что больше всего в Максе поражало и волновало, это его умение в каждом человеке найти что-то человеческое, умение раскопать это часто из-под спуда и преподнести людям, окружавшим его, в таком свете, что каждый заражался любовью Макса этим человеком. Надо «уметь смотреть». И Макс умел.

Вот скользила неслышно между нами серенькая Анчутка. Одно уже имя давало право на какое-то поспешное отмахивание от нее. Ну, стоит ли терять время на какую-то Анчутку, когда Коктебель полон именами, которыми может гордиться вся Россия? А вот как-то после чтения Макс подозвал к себе эту самую Анчутку и спросил нас, знаем ли мы, почему ее так зовут? И оказалось, что Анчутка — это Анна Чуткая. И это незаметное существо — человек по-своему героический. Она отказалась от личной жизни, так как на руках у нее туберкулезная сестра, которую она содержит на юге, в санатории. Все, что она зарабатывает, все посылается сестре, чтобы спасти ее. А заработки советской учительницы мизерны, помочь могут мало чем. И вот Анчутка до глубокой ночи мерзит платья и эти добавочные средства посылает сестре же.

И Макс взял бережно Анчутку на свою ладонь и показал нам ее в таком свете, в такой глубокой человечности, что она стала сразу яркой и близкой нам, и все мы наперебой стали у нее брать платья и помогать ей мержить, и все ходили покрытые вытянутыми для мережки голубыми и розовыми нитками, которые были как бы нитями, тянувшимися от одного человеческого существа к другому.

А вот в Коктебель приезжает какой-то полусумасшедший скрипач, который начинает с того, что мучительно не может принять той ласки и тепла, которое полилось к нему от Макса и Маруси. Ему легче и естественнее в обстановке душевной настроенности, привычной враждебности, в которой приходится быть

нам всем. Не было того оскорбления, которое он не бросал бы Макс, а затем убежал в горы. И Макс глубокой ночью, один, до рассвета блуждает по тропинкам гор, окружающим Коктебель, и только на рассвете находит скрипача и приводит его обратно и утром опять так «подает» его нам, что каждый поворачивается к нему, каждый находит что сказать и пригревает человека, который, право же, не виноват в том, что жизнь его изуродовала.

А в это время внимательные глаза Макса уже пристально вглядываются в другого человека, ждущего помощи. В доме гостит г-жа Финкельштейн, мать, потерявшая недавно 12-летнюю дочь. Она не может справиться со своим горем, и для нее один выход — уйти из жизни. Много вечеров говорит с ней Макс и наконец находит для нее выход. Она должна написать книгу о своей дочери, которая, очевидно, была выдающимся ребенком, и запечатлев ее образ в книге, не дать ей таким образом умереть. И г-жа Финкельштейн уезжает, полная творческого порыва, издает небольшую книгу — биографию дочери и перестает ощущать, что дочери нет. Она рядом, в книге, она в умах и сердцах других людей. И нет у матери слов, чтобы благодарить Макса за то, что он указал ей путь.

Но Макс уже нужен в другом месте. Приехала С., вдова Есенина, почти что сразу после его похорон. Смерть его была для нее страшным ударом. В Петрограде, куда она приехала по телеграфному вызову, она сама приводила в порядок страшное, вынутое из петли лицо Есенина. После этого ночи напролет его лицо ей мерещилось. Вечером, пока жизнь не замирала в доме, С. еще кое-как справлялась со своим горем, но когда наступала тишина, нервы не выдерживали. Она не могла оставаться с пережитым, и я была свидетелем того, как Макс и Маруся каждый день, без исключения, в течение двух-трех недель пребывания С. в Коктебеле сидели с ней, пока свет не начинал брезжить, и говорили, успокаивали, пригревали. А когда начинало светать, С. засыпала, а усталые Макс и Маруся уходили к себе, ложась на короткий отдых — час-два, не более, так как с 5 утра жизнь в доме уже начиналась, просыпались первые ранние купальщики, уплывавшие часто на час и более в море, и Макс надо было в большой бинокль, волнуясь, следить за тем, чтобы чего не случилось; приезжала бочка с водой — в Коктебеле не было водопровода и воду возили бочками за 2 километра из источника; и просто начиналась обычная дневная жизнь, со всем ее шумом и пестротой. Макс же любил вставать первым и до начала жизни дома провести некоторое время в уединении, созерцании, сосредоточении.

Макс умел найти доступ к человеческому сердцу даже тогда, когда это казалось нам совершенно невозможным. Помню, однажды в мастерскую к нему завалилась компания комсомольцев, человек двадцать. Веселая, здоровая молодежь. Кто им рассказал о Волошине и что им рассказали? Но какой-то интерес привел их сюда. Просили Макса что-нибудь прочитать. Он прочитал совершенно неподходящее для такой аудитории, как нам казалось, легкое, прелестное стихотворение о Коктебеле. Воцарилось неловкое молчание. Наконец один из комсомольцев небрежно сказал:

— Довольно художественно.

(Фраза эта потом была очень ходкой в Коктебеле.)

Макс стал им что-то показывать, но я не осталась, ушла. Пришло время ужина, а Макса все не было. Меня послали за ним. Я застала его в оживленной беседе с комсомольцами. Когда Макс при прощании протянул одному комсомольцу руку, тот нагнулся и поцеловал ее. Не знаю, о чем Макс беседовал с ними, какие струны задел в душе этого юного существа, скрученного партийной пропагандой, без Бога, без веры, без пиетета в отношении старших, без уважения ко всему, на чем не было штампа «дорогого отца народов»?

Я не могу говорить о Максе-мыслителе, Максе-антропософе, Максе-поэте. Я могу говорить только о том, как я и многие сотни других рядовых обывателей воспринимали Макса, Коктебель и весь строй этого особенного, неповторимого Дома.

* * *

Утро начиналось с чая на длинном открытом балконе-галерее, где стояли в один ряд длинные столы. Уютно шумел огромный самовар, жители дома постепенно сходились, каждый стараясь попасть к столу тогда, когда выходили Макс и Маруся. Кто-нибудь уже успевал сбежать в деревню, в булочную, и принести сдобную булочку или просто кусок белого хлеба — тоже редкость в меню советского обывателя, и положить ее перед прибором Макса. Макс и Маруся, всегда вместе, спускаются к столу, и Макс сразу видит приготовленное для него «лакомство». С чисто детской радостью прямо набрасывается на булочку, но тут уж предстоит бой с Марусей, которая понимает, чем грозит Макс его тучность, и энергично борется со всеми «друзьями», своим баловством только вредившими Макс. Не всегда удавалось Макс.у съесть принесенную булочку, часто Маруся отнимала ее и прятала. И он так искренне огорчался, как ребенок, шел на всякие уступки, лишь бы ее получить, обещая уменьшить порцию за обедом и т.д. Эта детскость, наряду со всем тем огромным, что было в Максе, составляла его очарование и приближала его к нам.

После чая кто-нибудь из живущих в доме приносил с почты корреспонденцию. Макс получал каждый день десятки писем со всех концов России. Если писем было много, то уходил к себе в мастерскую и садился рисовать свои акварели, которые никогда не рисовал с натуры, а по памяти. А кто-нибудь из близких, чаще всего сама Маруся, садился читать ему все письма. Чтение их брало иногда до 2 часов. Если не было большой почты, то Макс просил читать ему вслух книги, пока он рисует. Одно лето я читала ему вслух М. Пруста, второе лето — Анри де Ренье.

Иногда же Макс уходил писать. При мне в 1927—30 гг. он работал над монографией о художнике Сурикове, которую я перепечатывала для него на плохенькой дребезжащей пишущей машинке. В годы 1922—26, а может быть и позже, писал свою большую вещь «Путями Каина», с главами: «Меч», «Порох», «Пар», где говорил о государстве и цивилизации как о Молохе, поглотившем все человеческое.

Пар сократил пространства,
 Сузил землю,
 Вытянул пейзаж
 В однообразную раскрашенную ленту
 Холмов, полей, деревьев и домов,
 Бегущих между проволок;
 Замкнул просторы путнику,
 Лишил ступни
 Горячей ошупи неведомой дороги,
 Глаз — радости открытья новых далей,
 Ладони — посоха и ноздри — ветра.
 Свист, грохот, лязг, движенье
 Заглушили
 Живую человеческую речь,
 Немыслимыми сделали молитву,
 Беседу, размышленье,
 Превратили
 Царя вселенной — в смазчика колес.

(Глава «Пар». «Путями Каина»)

Вся жизнь Макса в Коктебеле — вдали от «пара» и была зовом к жизни: «в молитве, беседе, размышлении». И все наши иногда двухдневные и трехдневные походы с Максом пешком за 30—40 км (например, в Голубые горы) давали нам радость «ошупи неведомой дороги».

Последнее, что написал Макс, — это его стихотворение «Дом Поэта», в котором писал о себе, о Коктебеле и звал всех под гостеприимные своды своего дома. Грустно было сознавать, что Макс в последние годы почти не писал. Было ли тому причиной, что Макса не могли, конечно, печатать в СССР? Он сам говорил:

Мои уста замкнуты. Пусть:
 Почетней быть твердимым наизусть
 И списываться тайно и украдкой,
 При жизни быть не книгой, а тетрадкой.

И действительно, каждый коктебельчанин просил у Макса то или иное его стихотворение и переписывал для себя, унося его в свою холодную, пустую жизнь. Я помню, у меня были даже дважды перепечатанные тетрабочки с его стихами, но дважды я все палила, ожидая ареста и боясь его подвести.

В последние годы жизни Макс все больше проводил времени за рисованием акварелей. Но в рисовании их у него уже не было прежнего мастерства. Традицией дома было, что Макс каждому более или менее близкому при его отъезде из Коктебеля давал на память какую-либо акварель, а иногда и несколько. Для нас эти акварели были прямо какой-то реликвией; на стенах наших неудобных, холодных городских комнат висели застекленные и окантованные кусочки Коктебеля и всегда были для нас потянутой Максом рукой помощи, говорившей: «Не унывай».

Так как желающих получить акварели были сотни, то Макс приходилось много работать, чтобы удовлетворить каждого. Поэтому у него даже появилась, увы, ремесленная серийность в рисовании их. Лист бумаги, прикрепленный к куску фанеры, он делил на 12 или большее число квадратиков по 4 или 6 в длину и сразу проводил линию горизонта на всех рисунках, сразу работал над небом во всех акварелях в длину, не повторяя одного и того же пейзажа, а может быть, просто продолжая его, используя для данного ряда одни тона, краски и т.д. Наряду с этими маленькими акварелями он работал и над большими, которые посылал на выставку, в Феодосийский музей и др.

Перед обедом Макс обыкновенно купался в море, а после обеда шел к себе отдыхать. В эти самые жаркие часы дня никто ничего не делал, все отдыхали. Это были те часы, о которых так хорошо сказал Всеволод Рождественский:

Я камешком лежу в ладонях Коктебеля,
И вот идет она, горячая неделя...

Часам к пяти все собирались в мастерскую, и начинались бесконечные беседы. Чаще всего кто-либо из приезжих гостей читал свои произведения. Были тут философские статьи, переводы, стихи, проза, киносценарии. Доктор Л. — ярый последователь Фрейда, рассказывал о своей работе в области психоанализа, директор консерватории — о свой поездке в Палестину, иллюстрируя свой рассказ сложными им песнями. Но большинство тем были литературные. Никогда не затрагивалась сегодняшняя жизнь в СССР. Все, как будто сговорившись, навсегда изымали эту тему из разговоров. Так хорошо было отдохнуть от этого. Да и самозащита, а главное, желание охранить Макса от неприятностей. После докладов и чтений — самая интересная часть — дискуссия. Ведущую роль брал Макс, и куда только не заносила его мысль.

Если не было докладчика из приезжих или когда приезжала новая большая партия гостей, мы просили Макса читать свои стихи.

Читал Макс охотно и много. Часто читал свою лирику, последние вещи: «Путями Каина» и всегда «Дом Поэта». Стихов о революции я почти не слышала. Но много говорил о страдании, которое выпало на долю русскому народу, и об очищении страданием не только каждого человека в отдельности, а и всего русского народа в целом. Вспоминал страшную историю России. Читал свое большое стихотворение «Россия».

Часто вечера проходили в музыкальной комнате в подготовке к какому-нибудь спектаклю. В 1928 году ко дню пятидесятилетия Макса была написана очень удачная коктебельская оперетка, где действующие лица — куклы — представляли собой население дома, начиная от собак (которых была целая свора, так как Макс и Маруся не могли уничтожить хотя бы одного щенка) и кончая самим Максом и Марусей.

День рождения Макса праздновался всегда очень широко. Уже за несколько недель до этого начинались приготовления. Все, кто знают скудость жизни в СССР и мизерность наших средств, понимают, что организовать это было

непросто. Но все-таки где-то доставали масло, яйца, пекли, жарили. Готовили подарки, сообща и каждый в отдельности. Макс с раннего утра ходил «поздравляться» по комнатам. Входил и с радостной детской улыбкой говорил:

— А сегодня день моего рождения.

Дарили ему: хорошую грушу, кисть хорошего винограда, новую кисть для рисования. Все это он принимал как ценный дар и сейчас же шел к Марусе показать, поделиться. К обеду, который накрывался в этот день просто в саду, чтобы вместить всех одновременно, съезжались гости и сходились все обитатели дома. Большинство истых коктебельчан старались всегда приурочить свой приезд к этому дню — 18 августа. Обед был шумный, веселый, с большим количеством тостов, карикатур, сложенных к случаю стихов, баллад, с пением и т.д.

От жизненных тревог

Себя укрыв,

Прозрачен и глубок

Лежит залив.

И ослепительный закат

Таким был золотом объят,

Что забываешь векселя и Госиздат...

И, отряхнувши прах,

Уж много лет

На берегах его

Живет поэт.

И, тучен будучи притом,

«Путями Каина» ведом,

Вегетарьянствует порою за столом.

.....

О Дом Поэта

И ты, поэт!

Прими привет наш

На много лет.

Пусть ваша слава процветает в мире так,

Чтоб позавидовать ей мог бы Карадаг.

Пусть все созданья,

Что нынче тут,

Вам пожеланья

Свои несут.

И человек, и зверь, и птица, и дельфин

Без разделения на женщин и мужчин...

— писала Вера Инбер.

Иногда по вечерам в музыкальной комнате — шарады, смех, шутки.

А потом приходила ночь. Какие это были ночи! Небо темное, звезды яркие, море тихо набегает на песок, совсем рядом. На полу вышки расстилается какое-то подобие ковра, выносятся подушки, и все мы укладываемся рядком, а Макс и Маруся сидят на лавочке вышки, и долго, часто до самого рассвета, тянется беседа. Чего только Макс не расскажет, о чем не вспомнит. А потом голоса постепенно смолкают, засыпает один, другой, укладываются Макс и Маруся где-то на коврик рядом. Макс просит Марусю спеть что-нибудь, и маленьким, надтреснутым, хрипловатым голоском Маруся полупоет, полуговорит Максина же стихотворение с убаюкивающей, ею же сложенной мелодией:

Небо в тонких узорах
 Хочет день превозмочь.
 А в душе и в озерах
 Опрокинулась ночь.
 Что-то хочется крикнуть
 В эту черную пасть.
 Тонким ухом приникнуть,
 Чутким сердцем припасть.

Иногда же на вышке вспыхивало такое веселье, что никому не уснуть. И коронный номер такой импровизированный программы:

— Макс, потанцуй, как медведь.

Макс встает, тучный, массивный, бородатый, и, сам что-то очень фальшиво напевая, неуклюже топчется на месте под общий дружный смех.

* * *

Как известно, частная собственность в СССР облагается колоссальным налогом, для того чтобы поставить собственника перед необходимостью отказаться от этой собственности. Но налоги на дома исчисляются по доходам. Дом Макса доходов не приносил, все жили бесплатно. Но ни милиция, ни фининспектор этому поверить, конечно, не могли, и раза три-четыре за лето, вдруг в разгар нашего веселья или захватывающей беседы, появлялись эти мрачные фигуры, ловили всех живущих, допрашивали каждого в отдельности, сколько он платит за комнату, старались поймать, сбивая вопросами, требовали книгу доходов и расходов и грозили описью дома.

Маруся, более резкая, в этих случаях только старалась увести Макса дальше, а Макс впадал в полное бешенство. Он топал ногами, кричал и все искал поддержки в Марусе:

— Маруся, ты слышишь, они оскорбляют меня, они не верят моим словам! Они говорят, что я говорю неправду...

Мы старались обратить все это в шутку, подписывали коллективные заявления, посылали в финансовые органы письма, объясняющие, что мы не платим, но неизбежно через две-три недели появлялся новый фининспектор, и новая гро-

за надвигалась на дом. Чтобы избежать этих визитов и грубых окриков милиционеров за не вовремя вывезенный мусор или за протекающую крышу, дом (не помню точно, в каком году) был отдан Союзу писателей и как бы превращен в Дом отдыха Союза писателей, а личные комнаты Макса были сделаны как бы музеем, который два-три раза в неделю был открыт в определенные часы, когда заходили заезжие курортники.

Уезжали мы от Макса обыкновенно партиями. Сообща нанималась линейка или иногда даже грузовик. В последний раз обняв Макса и Марусю, мы усаживаемся. Все остающиеся выходят провожать. Пожатие рук, линейка трогается. Маруся начинает петь прощальную коктейбельскую песню, подхватываемую всеми:

В гавани, в далекой гавани,
Маяки огни зажгли,
В гавани, в далекой гавани,
Каждый вечер корабли.
В гавани, в далекой гавани,
Раздается то и знай:
Кто уходит нынче в плаванье,
Через год встречай!

Когда я слышала эту песню в 1931 году, я не думала, что больше не увижу Макса. 11 августа 1932 года Макс от нас ушел. Моя приятельница, которая ввезла меня в Коктебель, была при его смерти до самой последней минуты. Макс страдал удушьями. В последний год жизни удушья становились все чаще. Началось с простуды, с глубокого бронхита. Макс очень страдал. Но был невероятно кроток. Знал, что умирает. Когда удушье отпускало, просил ему читать. Не лежал, а больше сидел в кресле, так дышалось легче. Маруся не отходила от него. Похоронили его на высоком холме — километра полтора-два от дома. Он просил там его похоронить.